

Вольдемар Горх



**Я  
отсюда  
не уеду**



Кемерово 2006

УДК 821.16  
ББК 83.3Р  
Г 70

**Горх, В. А.**

Г 70 Я отсюда не уеду / В. А. Горх . — Кемерово: «СКИФ»,  
2006. — 176 с., ISBN 5-98899-012-8

«Я отсюда не уеду» — третье литературно-художественное издание заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, доцента Кемеровского государственного сельскохозяйственного института Горха В. А. Как и в ранее изданных его произведениях «Зов времени» и «Кресты России», автор в своем новом произведении (повести и рассказы) правдиво отражает сложности судеб своих героев без особого пафоса и картинности. Яркий, образный язык произведения вовлекает читателя в соучастники событий не только военного времени, но и сегодняшних дней России.

Автору не нужно было выдумывать своих героев, они жили и действовали всегда рядом с ним.

В этом произведении читатель найдет все: фронтовые будни солдат и офицеров, любовь и верность, ненависть и добро, веру в Родину, надежду на лучшее.

УДК 821.16  
ББК 83.3Р

ISBN 5-98899-012-8

© В. А. Горх. Текст, 2006.

© «СКИФ». Оформление, 2006.

© В. Ворожбитов, В. Илиндеев. Иллюстрации, 2006.



*Надежде Васильевне Горх —  
любимой жене —  
посвящаю эту книгу.  
Автор*



*Сердце готово в груди разорваться,  
Многострадальная Родина-мать.  
Долго ль, несчастной тебе унижаться  
И молчаливо страдать?  
Как бесконечно и стыдно и больно  
Видеть кровавые раны твои,  
Слезы в душе закипают невольно,  
Слезы горячей любви.*

*П. Грандицкий*

**К**ак назвать человека, совмещающего в одном лице производственника, ученого, педагога, а еще и автора талантливых литературных произведений? Прав был Иосиф Куралов, член Союза писателей России, написав о нем: «Читай прозаика, имя и фамилия которого напоминают раскат грома — Вольдемар Горх, и ты услышишь, как в этой прозе дышат почва и судьба».

Он действительно заявил о себе неожиданно громко повестями «Братья», «Бабушка», «Любовь цыганки», объединив все в единое название «Зов времени». Первое свое произведение автор посвятил жене и детям военных лет. Испытав на себе тяготы военного лихолетья, я душой осознал, что сборник «Зов времени» — честное и правдивое повествование.

В 2005 году выходит его роман «Кресты России». 300 страниц текста прочитал, не отрываясь. И пусть критики ищут в этом произведении всякого рода недочеты, а я же, как читатель, отмечу, что это произведение нашего земляка по широте охвата времени и судеб, духовной, этической, эмоциональной жизни героев — произведение, выстраданное и выдержанное ко времени.

Зачастую личность автора, его гражданственность мы познаем не сразу, Горх высветил это с первых своих произведений, не отделяя себя от событий в истории России. Эта авторская позиция проходит «красной нитью» через частые размышления героев, их монологи, их неистребимую любовь к жизни, тем самым придавая особую достоверность событиям.

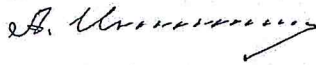
И вот я опять в роли первого читателя сборника повестей и рассказов Вольдемара Горха «Я отсюда не уеду». И так же, как прежде, «проглатываю» страницу за страницей, пока не перелистнул последнюю. Что ни рассказ — человеческая судьба, что ни повесть — жизненная правда.

Чем же так увлекает своих читателей Горх? Определяю точно — язык. Каждое слово, каждое предложение обволакивает и ведет все дальше и дальше, от мелких штрихов до серьезных размышлений. Автор не ищет в изложении словесного эффекта. Он стелет словами дорожку правды, и мы, читатели, идем по ней без оглядки. И на всем этом пути — чистота человеческой Любви, Вера в Родину.

И вот что радует меня: будучи с автором одного поколения, одной судьбы, поднявшись из-под тяжести пережитого, мы не успокоились и, оставшись людьми с активной жизненной позицией, до сегодняшнего дня несем молодым современникам свое Слово.

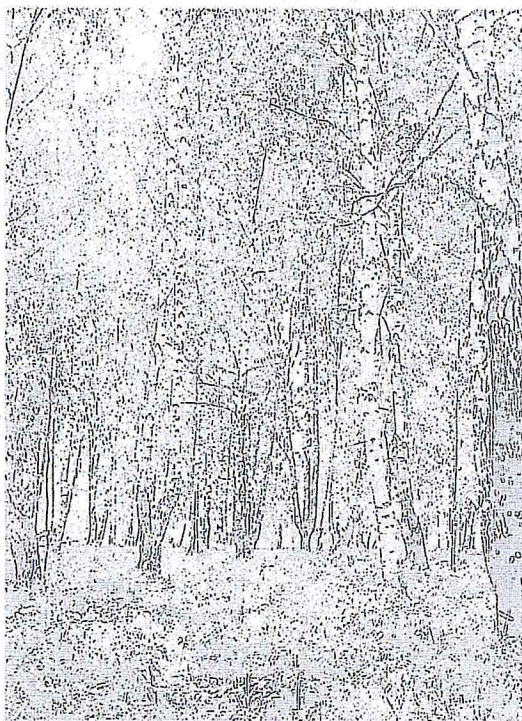
Не дай мне Бог  
Покой в душе почуять,  
Услышать сердца равнодушный стук.

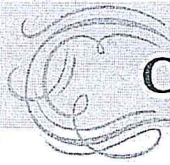
Дальнейших творческих дерзаний и успехов Вам, Вольдемар Александрович!



Член Союза писателей России  
Анатолий Павлович Иленко

# РАССКАЗЫ





## Свой среди стариков

*Родиться на свет — самая простая штука, но прожить на свете — это уж очень мудрено.*

*А. И. Писарев*

В который уже раз шагаю по тропе своего детства, любуюсь многоцветием крыш домов родного села, разлаписто расположившегося между холмами и рекой.

Лучший обзор с горы Лысухи. Отсюда видны не только крыши домов, но и улицы с журавлями колодцев, да разбегающиеся к реке тропки и дороги.

Шевелит набежавший ветерок усы ковыля, знакомо звенит где-то в вышине жаворонок, а я устремляю свой взгляд в сторону реки, отыскивая на берегу отчий дом, да стоящие напротив на самой круче, столярку и кузницу.

С Лысухи на лыжах до моста можно было лететь пулей, и если уж удержишься на ногах, то минут через пять выписываешь круги по льду реки. Не падать, правда, нам редко удавалось. Рвалось крепление, разъезжались в разные стороны «недороженные» осинового лыжи, и перед самым ответственным прыжком с берега почему-то всегда оказывался неуправляемым полет. Хруст лыж надолго останавливал нашу страсть полета, и мы снова бредем в сторону столярки заказывать дяде Мише новые лыжи в тайне от родителей.

Вот туда-то и несли меня сейчас мои ноги, ускоряя ход. И я уже летел, как в детстве, прыгая через камни к реке, забыв про свой возраст и радикулит. Тормознул у самого моста. А моста-



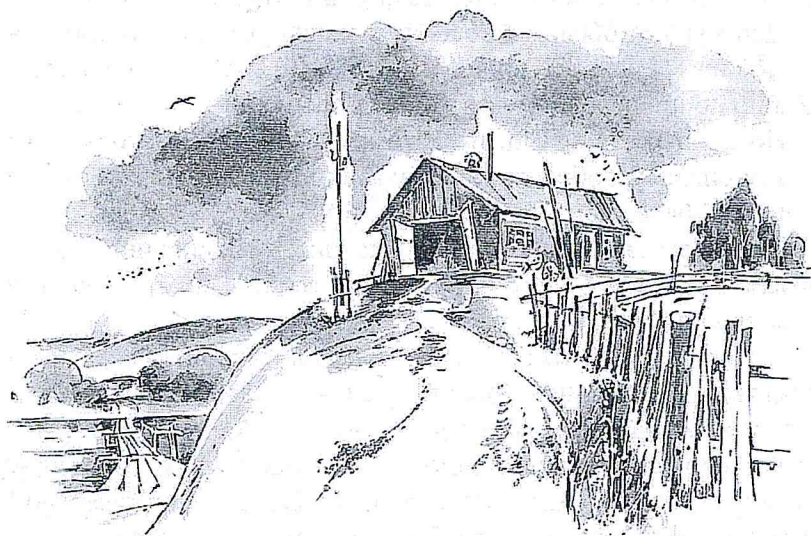
то вообще уже не было. Остатки бревен настила топорщились из воды. Выискал ровный их ряд, шагнул в воду. Я ступил на этот «мостик», раскинул руки и пошел. Сделал шаг, другой и только на середине своего пути обнаружил, что вторая часть бревен лежит концами на дне реки. Балансируя то на одной, то на другой ноге, кое-как снял брюки и ступил на донную пару.

Я пытался быть осторожным, но осторожность моя получилась слоновой: бревна под ногами закачались, подвинулись одним концом вниз, другим вверх и я скользнул в метровую глубину реки.

Выбравшись на берег, долго сидел на теплом валуне, суша ботинки, одежду и, поглядывая в небо, вместе с облаками уносился в далекое-далеко, в свое детство.

Как-то так получилось, но дружбу в основном я вел с седовласыми стариками: кузнецом, столяром, конюхом.

Покалеченные, опаленные войной, учили они меня своему ремеслу ворчливо, с какой-то затаенной лаской к маленькому «смышленишу». Это конюх дядя Петя разрешал мне кормить



и купать красавцев-жеребцов, разминать их рысью без седла. За уход и ласку отвечали эти мощные животные мне своим послушанием. Вот и летал я два-три раза в день верхом от конюшни до глубины реки, сверкая голым задом на зависть всем пацанам.

Столяр дядя Миша любил пофилософствовать на разные темы, успевая при этом следить за моими действиями по части столярных дел. В случае каких-либо грубых промахов, особенно если это происходило вопреки его обучению, ругал долго и нудно, подчеркивая при этом, что руки у меня кривые и вообще «растут не оттуда». Выпустив пар, этот добрейший старик начинал свое обучение заново, подхваливая меня.

Молчун-кузнец дядя Ваня и его молотобоец Гришка-кишка (так его прозвали за худобу и высокий рост) во время работы всегда молчали. Мне же интересно было наблюдать за их действиями, движениями рук, и особенно меня заколдовывала команда кузнеца молотобойцу звонким разнообразным стуком легкого молотка по наковальне. Из всех работ мне доверяли вначале только подкачку мехов горна, да замер ободов тележных колес. И не скоро доверили мне нарезку кованых болтов.

Перекуры и обед эти соседи-умельцы устраивали врозь, в разное время, как бы подчеркивая перед селянами свою автономию по производству важнейшей продукции.

Но один раз в месяц, по какому-то известному только им одним сигналу, собирались все у кузницы, рассаживались под одинокой березой и «сооружали закусь».

Дядя Петя молча протягивал мне ключ от конюшни, что означало засесть Серого и, прихватив торбу, скакать в магазин за водкой и консервой.

О моей дружбе со стариками в деревне знали все. Когда я появлялся в магазине с торбой, продавец Маргарита Павловна задавала мне только один вопрос: «Сколько их?» И, получив ответ, укомплектовывала мою торбу, нашептывая: «Одну бутылку спрячь, а то вдруг не хватит. Завтра, когда протрезвеют, скажешь своим старикам-разбойникам, что я все записала».

Распитие водки этой компанией было каким-то священнодействием. Вначале вскрывали все банки с рыбными консервами, затем каждому вместе с банкой выдавался большой кусок хлеба и огурец. А вместо ложки — кусочек березовой коры. После этого наливали по граненому стакану «под рубчик» водки. Выпивали под повторяемое слово: «Будем!» Следом за первым стаканом «шел» второй под это же самое слово. Минут через десять после этого начинался разговор о войне, о судьбе, о женщинах.

Долго не «брала» моих стариков выпитая водка, лишь разогревала на разговор.

Во второй половине дня, когда на каждого приходилось почти по бутылке, начиналось традиционное ворчание: «Опять Маргарита недодала бутылку, но наверняка записала ее. А может быть, Вовка ее дорогой выронил? Надо, пожалуй, послать еще в магазин», — хитрили старики, перемаргиваясь. Для меня же это было сигналом нести «зачачку». В заключение застолья развозил я их всех по домам, передавая из рук в руки домочадцам под их укор: «Опять ты их, Вовка, напоил».

Мне искренне жаль тех людей, которые не умеют слушать и запоминать, запоминать услышанное не вообще, а в деталях. Я запомнил почти все из рассказов моих стариков-фронтовиков и хочу этим поделиться.



## Рассказ Петра Арсентьевича Суворова

*Самая трудная профессия — быть человеком.*

*Хосе Марти*

Свое повествование он начинал всегда с одного и того же места.

— Меня ведь на финскую забрали в самом начале. За год до этого, как вы помните, я женился на своей Нюре. До службы успели-то мы всего одного пацана «сладить». Эх, и ладная была она у меня в молодости. Это сейчас время ее согнуло, да дурной мой нор.

Я смотрю на Петра Арсентьевича и стараюсь увидеть его таким, каким он был в то время, и представить, как его в первом же бою «шандарахнуло осколком по башке» и как его три месяца выхаживали в госпиталях Ленинграда.

Невысокий, смуглый, тщательно выбритый и аккуратный, подкупал он своих слушателей вольным изложением рассказа, когда примененный мат не резал слух, а очень емко обеспечивал восприятие сказанного.

— Из всей этой «просратой» бойни до ранения запомнились мне тамошние снега. Из низких набухших облаков валил на нас такой плотно-серый снег, что каждый солдат уже через десять минут превращался в серо-грязный бугор в незамерзающем болоте, где мы лежали перед броском в промерзших шинелях,

прикрывая заостренными от холода руками затворы винтовок. Голоса командиров тонули в этой природной круговерти, и в атаку мы поднимались по шлепающему звуку от соседа с фланга. Снежная карусель заглушала даже выстрелы. Только рвались мины, выбрасывая кверху веером болотное месиво с человеческим криком и кровью.

Мы задом своим дошли сегодня наконец-то до полного понимания происходящего тогда. Страшная штука жизнь... Великую печаль я познал тогда и, стыдно сказать, познал свое бессилие. Нет, страшно не умереть! Страшно умирать! Перед рывком в небытие возникает всепоглощающая обида, пожалуй, даже месть, и бросаешь ты свое тело и свою жизнь в эту пустоту. Страшно!

Арсентьевич замолкает, дрожащей рукой поднимает свой стакан и, выбивая дробь о зубы, единым плотком вливает водку в себя. Его примеру следуют и другие. Все молча закусьивают, шумно скребя по дну консервной банки, незаметно смахивая слезы.

Даже сейчас я помню эти минуты. У всех каменели скулы, резче обычного обозначались морщины у глаз, а челюсти смыкались так, что невозможно было предположить, смогут ли они разомкнуться для произнесения хотя каких-то слов. И было в этом молчании задавленное вовнутрь страдание и серая тоска.

— Свой срок... все там будем, — вздохнул неожиданно старый воин и более бодро продолжил. — Большинство из нас на фронте Богу молились, крадучись, только перед боем. В остальное время мы ведь сквернословили в Его сторону. Но в сорок втором я в Него поверил и сейчас чаще, чем у своей Нюры, прошу у Него прощения.

Когда немца-то от Москвы оттеснили, бросили нас, сибиряков, маршем по направлению к Калинин на пополнение потрепанных войск да закрыть образовавшуюся брешь в обороне. Дорога предстояла длинная. Но медлить было нельзя, враг мог опять броситься в обход на Москву.

Охрипшие командиры подгоняли нас зачастую матом, заставляя ускорить шаг.

Майская погода в тех местах «похабная»: под ногами все хлюпает, а внезапный ветер пронизывает до костей. Десять часов такого марш-броска, при полном вещмешке боеприпасов, вымотали нас.

Как ни спешили, а к намеченной позиции добрались только к обеду и сразу же заняли в траншеях свои боевые порядки.

Устало прислонился я спиной к стенке траншеи, подставил лицо ярким теплым лучам солнца и... и уснул. Приснился мне сон, будто бегу я к Красной поляне через грязное топкое болото, даже сапог с ноги соскочил. А я все бегу, бегу, бегу. Добежал я до этой поляны и... проснулся от возни соседа по траншее. Была команда — «К бою». До атаки должна была ударить наша батарея, и мы все прижались к брустверу, как к груди женщины, готовые в любой момент прыгнуть в бездну.

Артиллерия почему-то медлила. А сон все кружился в моих мыслях. Не вытерпел я и все рассказал соседу. Повернулся ко мне лицом старый седоусый солдат из прошлого состава и сказал то, что я и до сих пор помню: «Смотри, сынок, как бы твой сон не оказался вещим. Не потеряй сапог. Здесь много противотанковых мин. Молись...» Остальные слова заглушила артиллерийская канонада.

— Вот и говорят, что не нужно верить снам. А я поверил! Мне Бог весточку подал. Хотя и плохую, но все же... Метров за триста от траншеи рвануло у меня из-под ног, бросив об землю голову, и наступила темнота.

Очнулся на грязной взрыхленной земле от сильного холода в правой ноге под ободряющий голос санитарки: «Ничего, ничего, милочек, главное, что сам жив. Не унывай, солдат!» Свой сапог я увидел неподалеку от себя с безобразно белой костью ноги.

Рассказчик замолчал, сделал глоток из полного стакана, судорожно, раза два, дернулся его кадык, и наступило общее молчание.



Из мрачной тишины голос Арсентьевича зазвучал неожиданно громко.

— Вот так я одноногий и припелся домой в сорок третьем. А разруха тут, братцы, была ужасная. Да и то сказать, что могли сделать одни бабы в колхозе? Вы ведь, мужики, в это время еще воевали и не видели всего. А я хлебнул. Нас, мужиков, в это время десяток-то и было в деревне, да и те покалеченные.

Неделю я вытерпел. Хотя и на одной ноге, но по хозяйству все поправил, подлатал и даже деревянную ногу себе сладил. За эту неделю, оказалось, мы с Нюрой второго зачали. Только стал я замечать, что без сна и отдыха моя женушка, как сухая былиночка, качается из стороны в сторону под завистливый смешок солдаток.

Ранним утром набросили мы с женой «клямку» на дверь дома, закрыли калитку и пошли в колхоз трудиться. Председатель меня сразу определил на конюшню. Здесь я был и конюхом, и плотником, и шорником. Сложно и трудно все было, но к основным полевым работам я подготовил свой гужевой транспорт в «полном ажуре»: перетянул хомуты, заменил все веревки упряжи на шахтовый брезент, выстругал новые оглобли, подлатал шлей, а самое главное — расписал всех лошадей по тяжести

работы. Так вот в общих «конских заботах» и прожили мы год. Нюрка моя родила еще одного сына, и начал я мотаться между домом и конюшней. Утром уходил на конный двор, а после кормежки и раздачи лошадей — домой: покормить сыновей, накормить скотину, да и жене приготовить покушать. А она у меня после второго расцвела, как лебедушка. В девках такой не была. Только не долго любовался я этой красотой. Представьте себе, мужики, я ее... заревновал. И откуда только берется эта болезнь у мужиков? Я ведь от ревности начал сходить с ума. Мужик какой на Нюру ласково посмотрит — ревную, председатель премию даст — ревную, соседка пошепчется с ней — ревную.

Вы можете смеяться, но скажу, как было: я стал придурком от ревности. До темноты прятался на конюшне и, прежде чем зайти в дом, подолгу следил за окнами горницы — не выпрыгнет ли кто от жены. Дошел до того, что начал подсматривать, какое «нижнее» она надевает на работу. Свихнулся же окончательно, когда ее к дому подвез красавец-агроном. Вот тут-то я сорвался. Стукнул его без всяких слов своим увесистым костылем по голове — он и рухнул замертво мне под ноги. Взглянул я на этого распластавшегося здорового мужика, и резанула мысль: «Фашист... Фашист! За что?» С этой мыслью, совершенно опустошенный, доплелся я до конторы колхоза и все выложил председателю.

Забрали меня. Хотели дать десять лет, а сошлись на трех: учли, что я в голову раненный, да еще и калека.

Отбыл я свои три года, а ехать домой стыдно и боязно. Писем-то я за это время не слал.

До своей станции добрался быстро, а дальше не идут ноги. Вышел из вокзала на площадь и слышу раздирающий душу крик: «Пе-е-етя! Родной!» Кинулась мне на грудь моя Нюра и уцепилась за рукава тюремного бушлата сыновья. Так вот и завели меня домой.

А когда я немного очухался от содеянного и пережитого, увидел не прежнюю жену-красавицу, а стареющую, измученную женщину.



Петр Арсентьевич внезапно замолчал, по его смуглому лицу вновь заходили желваки, и раз за разом задвигался кадык. Неестественно сутулясь, поднялся со своего сидения и, глядя куда-то вдаль, выдал из себя: «Вовка, налей-ка мне еще водки, а то что-то плакать хочется».



## Рассказ Михаила Николаевича Дегтярева

*Лишь сумма преодоленных препятствий  
является действительно правильным мерилom  
подвига человека, совершившего этот подвиг.*

*С. Цвейг*

С позиции сегодняшнего взгляда на события тех лет и возможности реальной оценки человека, могу с полной уверенностью сказать, что дядя Миша был воистину мужественным человеком. Может быть, за это его и уважали? Но никто на селе не знал о нем столько, сколько знал я, потому что был постоянным участником душевных бесед стариков. Только мне он разрешал рассматривать у себя дома ордена и медали, комментируя каждую награду. А было их более десятка.

Однажды, в момент откровения, признался он мне, что его настоящая фамилия не Дегтярев, а Дегтярь. Фамилия эта идет от прадеда — дегтярных дел мастера.

В часы застолья был он взвешенно молчалив. Но если уж говорил, то слова его звучали с особой твердостью или, пожалуй, даже утвердительностью.

— Хоть и мал я был, но хорошо помню, когда в двадцать девятом пришли комбедовцы и чекисты раскулачивать нас. Описали две коровы, четыре лошади, всю утварь, дом, баню и ригу. Утварь, вещи, белье, провизию, под общий вой наших

домочадцев, увезли сразу. Согласно предписанию надлежало отцу завтра утром сдать на общественный двор скотину и быть готовым к отправке на высылку.

Заполыхала ночью наша рига. Сильный ветер перебросил огонь на сарай со скотиной и на баню. Через час сгорело все, вместе с дедушкой и бабушкой, почему-то оказавшимися в бане. А может быть, эти трудяги, не знавшие сна и отдыха, не смогли расстаться с нажитым добром? Я не знаю! Отца забрали, когда еще крыша дома горела. После войны узнал я случайно, что его расстреляли. Меня с мамкой в общем обозе, под стон и вой односельчан, повезли на железнодорожную станцию для отправки в Сибирь.

Мне кажется, слезы матери запеклись в моей детской душонке навсегда... Я их и сейчас вижу! — громче обычного сказал дядя Миша и снял с головы фуражку, обнажив совершенно лысую голову в разводах многочисленных шрамов разной расцветки — от малых белых, до сине-темных от макушки до затылка.

Такие же шрамы я видел у него на груди, на ногах, на спине.

Снятие головного убора означало для всех (за столом это знали), что сегодня Михаил Николаевич не произнесет уже ни слова. Разговор будет поддерживать только редкими кивками головы.

Продолжение рассказа я услышал в следующий раз.

— Перевозили нас в скотских вагонах. Единственная печка-буржуйка не обеспечивала полураздетых людей теплом. Совсем холодно и голодно стало за Уралом. Многие умирали, и их выгружали во время стоянок. Мама умерла недалеко от Новосибирска. Перед смертью успела шепнуть: «Убегай, сынок, к людям. Никому не признавайся, кто ты. Фамилию свою замени. Если останешься жив — вернись в родные места и перезахорони прах дедушки и бабушки. Беги, сынок». Протянула мне слабеющей рукой свой золотой перстенок и затихла.

Пока были деньги от проданного перстня, околачивался на железнодорожном вокзале в компании таких же пацанов с раз-

ными судьбами. Совсем стало плохо ближе к февралю: холодно, голодно, отовсюду гонят. Начали мы воровать. Замели нас всех сразу. Отмыли, одели и распределили по детским домам. Так и стал я Дегтяревым Михаилом Николаевичем.

Наш детдом имени Н. К. Крупской располагался недалеко от Кривошеково, в живописном бору на берегу Оби. За три года пребывания здесь научился я не только писать и читать, но и курить, отчаянно драться до кровавых соплей, лихо врать.

Когда воспитатели заметили растущие у меня усы и стремление прижать девчонок, отправили меня в ФЗО, где и обучился я столярному делу.

Перед самой войной был я уже кадровым рабочим промартели. В первый свой отпуск решил съездить на Родину, выполнить наказ матери.

Война застала меня в пути, недалеко от фронта. На первой же узловой станции, в общей суматохе, добрался до призывного пункта, и меня направили в учебную часть Воронежа.

Враг пер на Сталинград и, когда угроза занятия Воронежа стала реальной, нас срочно направили в войска, державшие оборону Москвы. С октября сорок первого начались для меня фронтовые будни разведчика. Что там говорить, наши командиры иногда несли такую ахинею о фашистах и о нашей непобедимой армии, что плевать хотелось. Мы ведь с июня по декабрь сорок первого все отступали и отступали, теряя роты, батальоны, полки и целые дивизии.

Разведчики — народ особый. Днем, как правило, отсыпаемся и отъедаемся, а ночь наша. Иногда за «языком» охотимся три-четыре дня, без жратвы и сухого белья, то в болоте, то зарывшись в снег. Да что об этом говорить, — нас убивали, и мы убивали. И не везде во время наших хождений по тылам местное население встречало нас пирогами. Особенно в Западной Украине и Прибалтике. Иногда деру давали не от немцев, а от местных жителей.

Сколько же нашего брата полегло за войну, даже представить трудно!



Дядя Миша прервал свой разговор, выпил, немного пожевав, продолжил.

— В конце сорок второго уходили мы вшестером ночью на ту сторону за «языком». Предыдущие две попытки оказались малоэффективными: притаскивали «не тот калибр». Нужно было что-то «посOLIDнее». Вот и решили мы переходить линию фронта немного левее в стыке между болотом и озером. Двигались как всегда: трое впереди, трое сзади. А ночь наша — темная. Боевые порядки прошли успешно и уже начали углубляться, как услышали впереди какой-то шумок. По сигналу залегли. Минут двадцать выждали и продолжили движение. Неожиданно передние завозились, раздался одиночный выстрел и стон. Мы вновь залегли, прислушиваясь. Кругом тишина и темень. Слышу, слева от меня

кто-то ползет, ну я и пополз к нему навстречу. Отползли мы с ним эдак метров десять в сторону, чтобы сориентироваться, затаились, молчим. Переждали немного, и я ему шепчу: «Что там стряслось?» А он вместо ответа — как трахнет меня прикладом по голове, я и «скис». Очнулся все в том же болоте, один, но со связанными руками и ногами. И вот тут-то я и понял, что нарвались мы на их разведку, а палач мой, по-видимому, ушел за подмогой. Голова гудит, соображаю слабо. Сильно он мне врезал.

К обеду, когда уже стало совсем светло даже в болотных камышах, попытался я продвинуться вперед кубарем, но ничего не вышло. Вот уже и вторую ночь я лежу в этой болотной тине и ни гу-гу. От ярости своего бессилия, рванул я путы и вдруг почувствовал, что они прослабли. Видно, растянулись в воде. Час разных манипуляций — и я свободен. Отползаю в сторону и метров через десять натываюсь на мертвого немца с ножом в горле, а рядом наш разведчик с простреленной головой. Забрал я все документы и оружие у вражеского разведчика, загрузил на себя нашего парня и под утро третьих суток добрался до своих.

Не успел сделать перевязку и помыться, как вызвали в штаб. А там начал меня «доставать» особист.

Не знаю, как вы, мужики, относились к представителям Особого отдела, а я их возненавидел. Ежу ведь понятно было, что не был я в плену, а он гнет свое, что я там был и мог многое выдать врагу. Я его и убеждал, кричал, матерился, а он гнет свое, да еще и наган под нос сует. Не вытерпел я, взял его на калган, — он и шлепнулся на пол.

Судили меня. Дали десять лет и отправили в Мариинск. А у меня к этому времени уже кое-что на груди имелось. Куда там! Режим везде режим!

И все равно, мужики, мне в жизни везет. Даже здесь, в Сибири, опять повезло. Через месяц после прибытия началась отправка в штрафные батальоны. Что это за воинство, я знал.

После формирования прибыли мы в сорок третьем на фронт, в армию К. К. Рокоссовского. Слышал я недавно, что будто штрафники шли на врага с голыми руками. Враки все это. Единственное, чего мы не могли делать, — это отступить. Загранотрядовцы шли следом и расстреливали сразу. Для нас смерть была и впереди, и сзади. А может быть, и правильно делали? Чем урок разного рода в тылу кормить, пусть каждый кровью своей Родине долг за содеянное отдаст.

Войска в это время застряли в Брянских болотах, и никак не получалось сдвинуться. Вот нас туда на прорыв и бросили.

Уходили мы в свое жизненное испытание утром молча. Только перед самыми вражескими траншеями переднего края не выдержали, и разнесся на всю ширину наступления русский мат с воплями и стонами. Огонь с немецкой стороны был настолько плотным, что вторая шеренга наступающих бежала уже по трупам своих. И все же нам удалось взломать оборону противника и дать возможность атаковать основными силами.

Дорого мы заплатили за это. От батальона осталось человек двадцать, не больше. А мне повезло. Изрешетили меня всего, но ни одного слишком серьезного ранения, правда, хирург часа два зашивал мои дырки.

Через два месяца после этого боя меня реабилитировали и отправили опять в разведроту под командование И. С. Конева.

Перед самой отправкой влюбился я в нашу землячку из Тисуля. Она мне ответила взаимностью. Там и поженились. Через два часа после небольшого свадебного застолья я уже отбыл на фронт.

Серьезно изрешетили меня уже под Прагой. До конца войны провалялся на госпитальных койках. Прибыл сюда к жене сразу после Победы.

Но война на этом для нас не закончилась. Машу мою сильно ранило в живот в январе сорок пятого, и у нас не могло быть из-за этого детей.

В сорок седьмом взяли мы из детского дома сразу двоих ребятшек и теперь прекрасно живем вчетвером.

Михаил Николаевич молодцевато поднялся из-за стола, налил себе водки и со словами: «Маша все равно будет сегодня ворчать», — выпил.





## Рассказ Ивана Васильевича Кузнецова

*О, верная и плачевная картина жизни!  
Радость входит туда, откуда вышло горе;  
Счастье располагается там,  
Откуда бежало отчаяние.*

*А. Ламартин*

Переулок, где когда-то был ход к кузнице, трудно было узнать. Новый ряд домов молодежато поглядывал на меня окнами с двух сторон, подсвечивая единственное старое сооружение. Мне казалось, будто пришел я в семью, некогда мне очень близкую, но где все уже выросли и разъехались, оставив на память эту серую вросшую в землю кузницу. Но именно она-то и была мне особенно дорога...

Не первый раз прихожу к выводу, что прошлое зачастую вспоминается «в общем и целом». Лишь детали, врезавшиеся в память, воссоздают картину минувшего. Подчас неожиданные, когда-то казавшиеся даже смешными, обретают с годами особую значимость.

Так происходит сейчас и со мной. Я пытаюсь из этих разрозненных жизненных деталей создать нечто целое и от души радуюсь, когда это удастся.

На перекрестке дорог прошлого и настоящего чувствую всем своим существом присутствие рядом со мной милого сердцу моему дяди Вани.

Был он в ту пору выше среднего роста, весьма ладного телосложения, с сильными руками и до удивления голубыми глазами. Когда он, слегка заикаясь, говорил, то цвет глаз его менялся от светло-голубого до темно-синего.

Так я его и запомнил, пораженный услышанным.

— Сколько знаю, весь наш род — кузнецы. Прадеда моего, коваля с Дона, сослали сюда в Сибирь. Так и пошел наш род Кузнецовых. Дед мой здесь кузнечил, отец, а теперь и я. К наковальне батя поставил меня в пятнадцать лет. К восемнадцати годам познал я многие премудрости этого мастерства. Люблю и цену я свою работу.

Вспоминая сказанное им, ловлю себя на мысли, что меня зачастую удивляла его наступающая внезапно отрешенность от окружения. Подхватит, бывало, откованную деталь щипцами и, прежде чем окунуть в воду, подолгу смотрит на угасающий цвет металла. Глаза его в это время темнели, а губы тихо-тихо произносили одно и то же слово: «Лисхен». Только через много лет увязал я воедино судьбу этого мужественного человека и странности его поведения.

— Я ведь моложе Арсентьевича почти на пять лет. Когда он воевал, я еще был здесь, в колхозе. В конце сорок первого, когда в селе почти не осталось мужиков, отправили меня на курсы трактористов при МТС. В этом же году забрали на фронт моего отца. Мы с мамкой остались вдвоем, да и то только так сказать. После курсов, начиная с ранней весны и до поздней осени, практически от зари до зари вкалывал я на колхозных полях. Домой забегал лишь помыться в бане да переодеться.

Как-то по весне направили ко мне плугарем нашу деревенскую девушку — Громову Ульяшу. Потихоньку-полегоньку научил я ее работать на тракторе, выкраивая себе часок-другой для сна. Однажды, под самое утро, прилег я в копну соломы «покемарить» и под мерный рокот трактора тут же уснул. Проснулся от полной тишины. Глянул, рядом стоит мой «железный конь», а помощник преспокойненько спит у меня под боком.

Хоть и разозлился я на нее, но будить не стал. Начал осторожно подниматься, освобождаясь от ее руки, которую она на меня положила, перевернул на спину и увидел из расстегнувшейся кофточки белую девичью грудь. Не выдержал я этой близости, прильнул к груди и начал целовать, а она, проснувшись, все шептала: «Не надо, Ваня. стыдно же», — и прижалась ко мне таким же горячим телом.

Родителей у Ульяны не было, растила ее тетка, так что упрасивать долго родню не пришлось. Вот так и привел я неожиданно для мамы в наш дом жену.

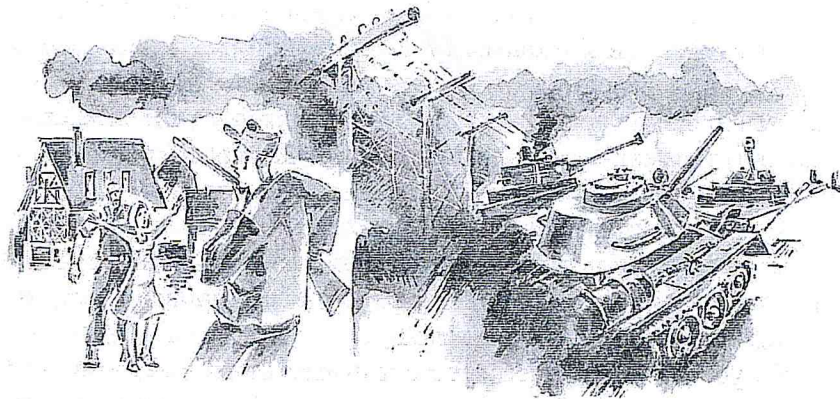
Не успели мы с Улей вдоволь насладиться любовью, как пришла мне повестка. Вначале отправили в Омск на краткосрочные курсы танкистов. А в сорок третьем я на своем новеньком Т-34-85 уже воевал.

Дважды побывал наш экипаж в боях. Оба раза вышли целыми. Меня даже за удачное маневрирование и скрытный проход в тыл наступающим немцам, сорвавший их массированный танковый удар, наградили орденом Красной Звезды. В июле сорок третьего, ночью, перегнали нас под Курск, где намечалось большое сражение.

Двое суток стояли мы в резерве, укомплектовываясь и отсыпаясь. Под утро третьего дня, без света, выдвинулись мы на линию наступления.

На самом рассвете с нашей стороны так плотно и долго била артиллерия, что вой снарядов катюш различался с трудом. Дрожь земли мы ощущали даже в танках. Немцы почему-то не отвечали, и наступила жуткая, ноющая тишина. А потом началось...

Если есть на свете ад, то он был тогда там. Это был бой техники и огня, выдержки и безумия, мужества и трусости. Рвалось, гремело со всех сторон. Мы мчались вперед, увертываясь от выстрелов, стреляя по вражеским танкам и пехоте. Кругом все горело. Я свою машину весьма долго, а может быть мне так казалось, бросал с бугра в лощины, по кустам заходил в бок к вражеским машинам, и мы постоянно стреляли, стреляли, стреляли.



Когда уже начали «утюжить» вражескую артиллерию, бросили немцы на нас свои новые «пантеры». Это был грозный танк: пушка — 75 мм, два пулемета, броня — 40—100 мм, и скорость — 50 км/час. Наш танк несколько уступал по броне, но по вооружению и маневренности был лучше. Вот и сошлись в этой схватке, зачастую «в лоб», две силы: дыбились и корчились в огне, швыряли с дальнего и ближнего расстояния смерть, смерть, смерть...

Взрыв сверху, сбоку, снизу завернул меня в темное липкое одеяло и погасил свет.

Очнулся я от странной тряски, будто опять в своем танке, и через смотровую щель дует свежий июльский ветер. Немного очухавшись, увидел рядом догорающий свой танк без башни, раздавленное немецкое орудие и беззвучные для меня дымы разрывов. Земля продолжала двигаться — это пинками меня заставили подняться, вначале на четвереньки, а затем и на ноги два дюжих немца, указывая автоматами путь следования.

Собрали нас, таких же как я оглушенных, израненных, окровавленных, в небольшую колонну и на четвертый день привели в какой-то скотный двор, где мы впервые смогли умыться и вдоволь напиться.

Иван Васильевич замолчал, завернул себе папиросу, глубоко затянулся и, держа в руках чадающую сигарету, продолжил.

— В октябре привезли нас в город Эссен, что недалеко от Нидерландов, и после двухдневного отдыха распределили по цехам машиностроительного завода. Меня, кузнеца, поставили на механический молот, где я до марта сорок четвертого выковывал заготовки для дальнейшей обработки в других цехах. Работали мы по десять часов под надзором охранников. Кормили привезенной баландой, в которой было много капусты и свеклы.

У немцев мужиков-то тоже повыбивали, вот и использовали они на своих заводах военнопленных. Здесь был целый интернационал: русские, немцы, поляки, болгары, албанцы, французы, датчане. Не могу сказать, что от тяжелой работы и голода мы умирали «пачками», но есть хотелось постоянно. Ближе к весне заболел я: постоянный грохот и стук пневмомолота повлияли на мою контузию, и я оглох. Продержали меня три дня в лагерном лазарете и отправили батрачить в имение фрау Лотты на берегу Рейна.

Недавно это было прекрасное имение с продуманной архитектурой построек и расположением полей. Семья состояла из трех человек: сама хозяйка, хромоногий сын — Райнгольд и семнадцатилетняя дочь — Лисхен. Впоследствии я узнал, что хозяина имения убили во время вторжения во Францию. Кроме меня в батраках был еще конюх-поляк да две доярки из Франции. Местом проживания определили мне совместно с конюхом весьма уютную пристройку под названием «пак-хаус». То ли это была летняя кухня, то ли постирочная, но там были печь и душ. Зная о моей глухоте, все объяснялись со мной жестами. Из жестов фрау Лотты я понял, что основная моя работа — механизмы и поливной участок.

Если уж говорить честно, то руки мои соскучились по крестьянскому труду. Так что через неделю восстановил я поломанный колесный трактор и, под удивленное покачивание головы хозяйки, развозил по орошаемому участку поливные трубы. С

оросительной системой провозился долго, особенно с насосом и двухцилиндровым двигателем. Пришлось даже для этого соорудить небольшую кузницу с настоящей наковальней. Целую неделю по имению раздавался стук моего молотка под косым взглядом хромоного сына и одобряющие жесты хозяйки. А когда я на все поле подал воду и везде закрутились колесики водоразбрызгивателей, прибежали все. Я был счастлив, счастлив мгновением величия своего труда.

С этого момента стал я в имении почти «своим» человеком. Мне выдали новую одежду, комбинезон и, главное, начали усиленно кормить. К осени «вошел» я в свои довоенные формы, и мои мышцы опять бугрились по всему телу. Глухота стала потихоньку отступать, и я начал слышать речь.

Чаще всех в поле ко мне прибегала красавица Лисхен. Постепенно мы с ней подружились, и я даже научил ее управлять трактором. Она же учила меня немецкому языку. Наша дружба дошла до глаз и ушей матери, и та запретила дочке приходить ко мне. А мы уже любили друг друга до такой степени, что способны были преодолеть любые преграды. Так и стала она однажды, при очередной встрече, моей женой. А когда наши отношения стали очевидными, в имении разразился скандал. Вначале я получил от хозяйки увесистую оплеуху, затем с двустволкой в руках появился хромоногий брат с намерением убить меня, да только Лисхен коршуном налетела на всех, раскинула руки, заслоняя меня, выставив округлившийся животик, и твердо произнесла: «Шис мих... (убей меня)». На этом все и закончилось.

Рождение сына отмечали уже в мирной семье.

Думал ли я о Родине, о родителях? Думал! Думал всегда, а когда узнал, что война закончилась, засобирался домой вместе с Лисхен и сыном. Разумная фрау Лотта с трудом объяснила, что этого делать не следует, потому что меня будут судить как изменника Родины и я загублю дочь и внука. Я ведь тогда не знал, что нам запрещено было жениться на немках. Сошлись

на том, что при благоприятных условиях я вернусь назад и заберу жену с сыном.

Заполучил я в комендатуре «аусвайс» военнопленного, распрощался со всеми и покатил на сортировку в нашу зону Берлина.

Слово в слово свершилось то, что напоследок говорила мне немецкая теща. Да будь же ты проклята, жизнь! — почти прокричал Иван Васильевич, обнял пятерней стакан, который тут же хрустнул в его руке.

— Всучили мне червонец без права переписки и отправили в распоряжение СИБЛАГа. Десять лет: зона, тайга, лай собак и каторжный труд.

Вы не подумайте, мужики, что я плачу, у меня уже нет слез, я их выплакал на войне и в зоне. Сильно болит сердце по жене Лисхен и по сыну Ивану. Только нет их нигде, а меня в Германию не пускают.

Пока Иван Васильевич говорил, я проворно убрал осколки стакана и налил ему в кружку водки. Глянул на меня с благодарностью старый воин, встал и выпил все до дна. Не закусывая, в каком-то особом порыве, продолжил:

— Вернулся я сюда домой в пятьдесят шестом. И что удивительно: вначале выпустили всех уголовников по амнистии и только через два года — нас. Никто меня здесь не ждал. Оказывается, получили на меня похоронку мои старики еще в сорок третьем году. Израненный отец не выдержал этого удара и умер. Мама в одиночестве умерла через год. Жена Ульяна вышла замуж и уехала. Так я стал одиноким на моей Родине и живу на этом свете с одной лишь мечтой — дожждаться дня, когда смогу обнять жену и сына.

И сегодня вижу я окаменевшее лицо Ивана Васильевича, из глаз которого выкатились две прощальные слезинки.



## Рассказ Григория Никоновича Могилевского

*Жизнь — это школа, но спешить с окончанием  
ее не следует.*

*Э. Кроткий*

Григорий Никонович в нашем селе проживал года два, не больше. Приехал он сюда из области с кучей ребятишек и молодой дородной женой.

Мы, местные пацаны, из сельских слухов знали, что Гришка-кишка в Сибирь приехал откуда-то из Белоруссии, воевал и сильно ранен. Еще мы слышали, что за какой-то геройский поступок награжден он высокой наградой. Многие селяне сторонились его из-за частых наездов в дом начальника районного отдела милиции. Селянин-молчун особой симпатией у наших мужиков не пользовался.

И вот этот вечный молчун однажды поразил нас своей исповедью.

— Родом я из Белоруссии со станции Молодечно, которая расположена на железнодорожной магистрали Гомель — Минск — Вильнюс. Родители мои родом из Польши и приехали на постоянное жительство в тридцать девятом, когда Западная Белоруссия вошла в состав Белорусской ССР, отсоединившись от Польши.

В семье я был единственным ребенком, так что особой нужды не знал, тем более родители работали на железной дороге и имели неплохие заработки.



Когда мама заболела, купили родители в соседнем хуторе хороший домик и живность. До войны успел я закончить шесть классов и готовился поехать учиться на машиниста паровоза. Война изменила все.

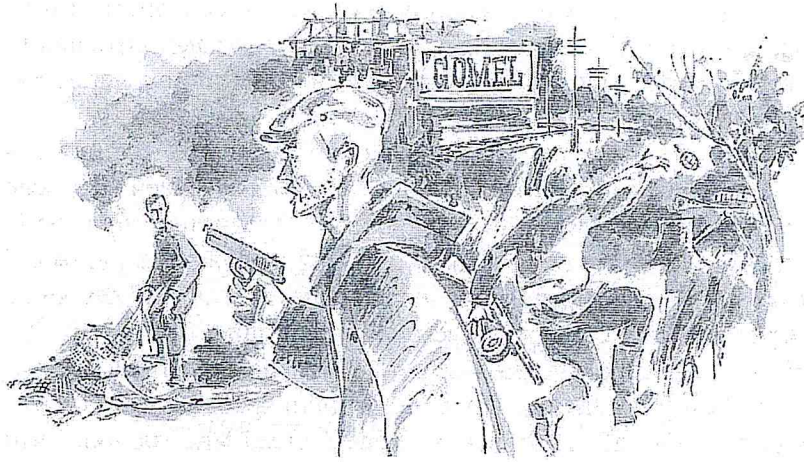
Знали ли мы о предстоящей войне? Говорю честно: знали. От родственников из Польши и местных евреев мы даже ориентировочно знали начало войны. Готовились ли к ней? Большинство населения западной части готовились: уезжали куда-то евреи, отправляли в Россию детей, копали глубокие погреба, в лесу сооружали землянки. Сегодня, с большой долей ответственности, могу заявить, что военные тоже не дремали. В сторону Литвы, Польши уходили красноармейские отряды закладывать партизанские базы. Отец мне говорил, что есть специальный план эвакуации населения с предполагаемой фронтовой полосы.

Ничего этого не успели сделать. Немец настолько мощно «двинул» с той стороны Буга, что мы в течение недели оказались в оккупации.

Не знаю как в других местах, но у нас, пока продвигались регулярные войска, все было по-прежнему. Колхозники работали в поле, так же работала железная дорога, даже председателя сельского Совета не убрали, только вручили ему предписание выполнять распоряжения немецких властей.

Идиллия закончилась быстро. Через месяц пришли тыловики со своими бургомистрами, старостами, полиция и начался новый «орднунг».

Начались аресты, расстрелы, принудительная отправка молодежи в Германию. И пошел наш народ в партизанские отряды. Практически через полгода превратилась наша республика в партизанский край. После войны увидел я сообщение, что было у нас более тысячи ста партизанских отрядов и групп, в которых сражалось более трехсот семидесяти тысяч человек. За время войны наши потери здесь составили более двух миллионов человек.



Осенью и я ушел к партизанам, а было мне в то время всего четырнадцать лет. Причислили меня в разведчасть. В мои обязанности входило: выяснять на узловых станциях количество воинских составов, пути следования, перевозимые грузы и места назначения. Нас, таких пацанов-разведчиков, было десять человек, и на каждой станции находился наш связной, которому мы передавали сообщения в отряд, а он — командованию. Долго мотался я по всем путям: Гомель — Жлобин — Осиповичи — Минск — Барановичи — Борисов — Орша — Могилев. Целый год мне везло. За ценные сведения наградили меня даже трофейным браунингом.

Погорел я в сорок третьем, когда во всю шла уже рельсовая война. После выполнения очередного задания пришел я домой к родителям и на ночь устроился на сеновале. Проснулся от размеренного стука топора — это отец колот дрова рядом с сеновалом. Ну я и спустился полураздетый к нему размять кости. Отец любовался моей сноровкой и ушел в хату. Успел-то я расколоть, может быть, с пяток чурок, как услышал сзади: «Руки до горы», — и мне в спину уперся ствол автомата. Предал меня полицая сосед. От обиды, от бессилия, что не могу оказать сопротивления, я взвыл и бросился на полицей-

ского. Встречный удар автоматом в лоб опрокинул меня. Дом обыскали, нашли на сеновале оружие, и меня с отцом увели на станцию в комендатуру. Там сообразили сразу, кто я такой, и начали допрашивать. Меня били, но я молчал. Меня сильно били, я орал, но не выдал никого. Тогда у меня на глазах застрелили моего отца. Я все равно ничего не сказал. Утром, под конвоем, отправили меня на допрос в гестапо Минска. По дороге конвоир допустил оплошность — забросил за спину автомат. Этого было мне достаточно, чтобы ударить его головой в лицо и дать деру.

До своего отряда добрался я только через неделю. Там меня подлечили, откормили и затем перебросили в отряд под Полоцк. В июне сорок четвертого года вместе с войсками Прибалтийских фронтов и Первого Белорусского фронта наш партизанский отряд начал наступление на Витебск, а другие отряды ударили по направлению Бобруйска. В июле удалось освободить Минск и следом за этим Вильнюс. В это время я уже числился кадровым военным и Победу праздновал в Литве.

Но не везде радовались нашей победе. До сорок седьмого года вылавливали мы литовских и польских партизан. Я уверен, что здесь к такой форме борьбы против нашей власти готовились тщательно. Это была хорошо продуманная и глубоко законспирированная система сопротивления. Нас ведь многие в этих местах считали захватчиками, а это было основой действий боевиков. Долго бегали мы за ними по лесам и хуторам, пока не устроили тщательную проческу.

Никогда не забуду один случай. Наша рота фронтом вела проческу лесного массива. Все нормально, следов нет. На самой опушке леса присели мы передохнуть и покурить. Нашему старлею приспичило «отлить», — он и отошел метров на пять назад к кусту. Не успел он завершить свое дело, как увидел отодвигающийся в сторону соседний пенек, и из темноты высунули ствол пулемета. Услышали мы только крик: «Ложись...» — и взрыв. Как он успел бросить в отверстие гранату,

старший лейтенант и сам впоследствии не смог объяснить. А ведь растеряйся он — всех бы нас уложили.

Война для меня закончилась только в сорок седьмом. Демобилизовался я, а куда податься, не знаю: родителей немцы расстреляли, дом сожгли, родни нет. Вот тут-то я и принял решение ехать в Кемерово к своему фронтовому другу.

Не застал я его живым. За неделю до моего приезда в ночной перестрелке с матерыми бандитами погиб мой товарищ, Николай Николаевич Горин. Оставил он после себя память, награды да жену Ольгу с тремя детьми. Посмотрел я на все это и понял: здесь мой причал, здесь моя дальнейшая жизнь.

Через два дня пришел я в милицию и заменил своего друга. Через полтора года женился я на Ольге, и началась наша совместная семейная жизнь. Через год родили мы еще и дочь.

В жизни никогда не знаешь, откуда нагрянет беда.

Появился у нас в Крапивинском районе дерзкий убийца-грабитель. Выяснили, что это бывший работник НКВД, отбывавший здесь свой срок заключения и осевший в этих местах. Какие только оперативные действия не осуществляли, а взять не могли. Тайгу он знал, как свои пять пальцев. Действовал в одиночку, дерзко, профессионально. Почерк был один: «берет» кассу с деньгами и ложится на полгода «на дно». После этого мог появиться в Банново, в Салтымаково или в Змеинке. А то и в Кожухе Тисульского района. Ну, просто неуловимый Ян.

Вот на этом фоне и родился план: под видом инспектирования школ отправить меня, как более опытного работника по борьбе с бандитами, в дальние таежные села, начиная от Змеинки и заканчивая Медвежкой на Тайдоне. Приказ был однозначным: если не будет стопроцентной гарантии взять живым — то убить.

Два месяца в стужу и бурю на лошадке объезжал я таежные села. Жители сел друг о друге знают все. От них ничего не скроешь. Они даже знают, что происходит в соседней деревне. Вот так тихонько-тихонько к концу второго месяца вышел

я на след его любовницы в селе Малое Осипово. Четыре дня проторчал я с «проверкой» в местной начальной школе, пока не узнал точного адреса. Мысль моя сработала так: «Сегодня суббота, значит, будут мыться в бане. Там и возьму». Засел я в домик напротив еще ночью и начал наблюдать. Часов около двенадцати в баню прошмыгнула женщина, а за ней с охалкой дров спокойно прошел мой «клиент». Минут через двадцать, когда задымила баня, мужчина на лыжах с котомкой за плечами отправился в сторону реки. Выждал я немного и ворвался в баню. Женщина как стирала, так и продолжила стирку без видимого внимания ко мне. Но когда я ее связал и начал допрашивать, она призналась, что ее давнишний друг вернулся с охоты помыться в бане, а сейчас отправился на реку за свежей рыбой.

Рыбак так увлекся выемкой сетей, что даже не услышал моего приближения. Котомка с наганом лежали в стороне, что даже в прыжке было недостижимо. Я давно уже снял свой «ТТ» с предохранителя и через мушку ствола приказал лечь вниз лицом. Нехотя, но команду он выполнил. Вот тут-то я недооценил противника и переоценил свое преимущество. Только я наклонился надеть на него наручники, как он пружиной взвился и ткнул меня ножом в живот. Падая, успел я выстрелить ему в лоб. Как я не увидел нож, не знаю. Знаю только одно: удар был рассчитан на печень, а повредил кишечник. Зажал я рану рукой и побрел в поселок. С трудом развязал хозяйку, и она, чтобы хоть как-то реабилитировать себя, сделала мне добротную повязку и сама же по реке отвезла меня в Крапивино. Оттуда самолетом меня отправили на операцию в Кемерово.

Вырезали мне часть кишечника, заодно удалили аппендицит, который вот-вот должен был лопнуть, и уложили на три месяца на больничную койку. Заживало очень долго, да и сейчас перед непогодой раздрает мне кишки.

Из органов я ушел по инвалидности. Хоть мне и помогают, но пособие маленькое, вот и приехал я со своей оравой на

прокорм в ваше село по рекомендации знакомого начальника вашего райотдела. К осени пообещали построить новый большой дом для моей семьи.

Он замолчал, сделал небольшой глоток водки и под общее молчание тихонько присел поодаль.

Давно уже время ведет меня дорогой взрослой бурной жизни, но никогда я не забуду лица и слова милых мне людей — моих стариков. И вспоминаются слова: «Что же милее всего для человека? Жизнь. Только с нею связаны все наши радости, все наше счастье, все наши надежды».



## Улыбка лейтенанта

*Истинная жизнь человека — та,  
о которой он даже не подозревает.*

*С. Батлер*

Не могу сказать, что он постоянно улыбался и его улыбка была обворожительной. И все же она чем-то притягивала собеседника, убеждая в достоверности сказанного. Сам же Николай Илларионович Стекачев о притягательности своей улыбки и не догадывался, иначе бы он это оригинальное оружие использовал не только в отношениях с женщинами. А их, по его рассказам, было много: от фронтовых подружек до послевоенных жен. О каждой из них говорил он с той долей грусти и доброты, которая могла исходить от человека искреннего и нежного.

Все свои рассказы начинал он с легкой критики поведения женщин сегодняшнего дня.

— Ну что это за женщины? Наложат себе на лицо в два пальца толщиной пудру да краску, намалюют глаза наискосок, да еще и ногти кошачьи прилепят. Вот и гадаешь, глядя на них, для кого все это они делают? Если для нас, мужиков, то ошибаются, мы краской не питаемся, а если выступить друг перед другом, то весьма глупо. Нам в женщине нужно совсем другое.

Замолчит ненадолго, вспоминая что-то свое душевно-теплое, улыбнется и продолжит:

— Помню свой десятый класс и наших девочек. Мы в это время тайком от всех подруживали. Но дальше рукопожатий и коротких поцелуев дело не доходило.

Вспоминаю и свою первую любовь — Наташу Огородникову. «Соприкоснулись» мы с ней на одном рядке колхозного картофельного поля, куда наш класс направили «на прорыв». Наташа мне понравилась еще в девятом, но подойти к ней боялся. А тут — вот она, рядом: озорная, работающая, красивая. Когда присели отдохнуть, я вроде как бы в шутку поцеловал ее в щеку. Оплеуху я заработал тут же. Наступила могильная тишина и... не поверите, она меня поцеловала в губы и ушла. Только на выпускном вечере мы вновь встретились, танцевали, пели, целовались и объяснились в любви.

Светлым июньским утром сорок первого года привел я Наташу к себе домой познакомить с мамой, а потом пошли мы к ее родителям. Расстались с ней ближе к обеду. Окрыленный случившимся, влюбленный до беспамьтства нырнул я дома в постель и тут же уснул. Проснулся от какого-то неясного ощущения тревоги. Еще и глаза путем не успел разодрать, как с воплями в спальню влетели мама с Наташей. Слух резануло слово «война».

Провожали меня в дальний фронтовой путь родные мои женщины, мама и Наташа. До сих пор помню слова матери: «Вернись, сынок», — прощальный соленый поцелуй Наташи и ее слова: «Я буду ждать...»

Николай Илларионович помолчал и с какой-то особой грустью добавил:

— Из нас троих только я сдержал слово — вернулся. Мама умерла в сорок четвертом, а о гибели Наташи мне сообщили ее фронтовые подруги в сорок втором. В это время, после пехотного училища, прибыл я только что на фронт и получил роту. Кого тут только не было: безусые необстрелянные новобранцы, седоусые хмурые старики с финской, партизаны, не понимающие русского языка казахи и узбеки. Война требовала солдат, народ их давал. С этого и началась моя фронтовая жизнь.



Многое меняется в сознании человека на войне. Посмотришь на солдата до атаки — он один, а после боя — тот же, да не тот. Нет у солдата в глазах страха, задумчивости, тоски, а появляется явно видимая отрешенность и злость. Но я видел после боя и слезы, особенно у солдат-первогодков, когда наступало относительное затишье на переднем крае. Они плакали, не стесняясь, не скрывая слез, и по их закопченным щекам прокладывали себе дорожки ручейки. Жутко это, когда плачут мужики. Но более жуткое чувство, нежели слезы мужские, вызывает участие в бою женщин. Вот она, рядом со всеми ползком продвигается вперед: маленькая, в огромных не по размеру сапогах, в забрызганной пилотке, в такой же шинели с медицинской сумкой на спине. Не сразу и не легко давалась этим вчерашним девчонкам солдатская наука. Но здесь, на фронте, у всех воюющих мужиков без различия рангов появляется какая-то особая теплота в отношениях с женщинами. Она проявляется во всем: в нескрываемом восхищении, в доверительной улыбке, в желании оказать помощь, защитить, создать по возможности фронтовой уют и отдых, ну и, конечно, самим покрасоваться перед женщиной. Но смерть на лица не смотрит. Лежат в братских могилах нецелованные, юные наши женщины, рядом с мужчинами, оставаясь, зачастую, только в памяти выживших.

Долго Наташа в коротких солдатских снах была со мной. Но постепенно сознание спрятало эту душевную рану, освобождая путь другой женщине.

Второй раз влюбился я в госпитале. Доставили меня в этот тыловой госпиталь после непродолжительного лечения в прифронтовом. И рана-то была по нашим солдатским меркам пустяковая: пуля прошла по мякоти бедра навывлет. Загноилась сильно. Это сейчас на все случаи жизни десятки антибиотиков, а во время войны лечили по-другому.

На полное выздоровление ушло три месяца. Эти три месяца были для меня и моей красавицы процедурной медсестры вер-



хом блаженства. Звали ее Оксаной Бенедиктовной, и была она родом с Украины. В госпитале работала вместе с мамой. Днем мы встречались на процедурах, а когда мне разрешили ходить, зачастую ночевал у нее дома.

Из всего переговоренного в эти ночи запомнились ее слова, запавшие в душу: «Как же хорошо у нас с тобой, как прекрасно! Никаких обязательств, кроме одного: любить друг друга». Но я-то знал, что кроме этого есть у меня суровая солдатская обязанность — защищать Родину. Все было: клятвы, слезы, обещания вечной любви. Не было только одного — самой Жизни.

На фронт от Оксаны письма приходили редко, но каждое предложение, каждое слово в них кричали о нежном ожидании моего возвращения.

Убийственную весть получил я от ее мамы месяцев через семь. Она коротко сообщила, что Оксана умерла во время преждевременных родов. А ведь я и не знал, что она беременная.

Бои, бои, ранения, потеря друзей, однополчан потихоньку заглушили мою сердечную боль, но не вытравили из памяти образы любимых женщин.

Есть ли на войне такое понятие, как везение? Есть! Могу поделиться рассказом о двух характерных случаях.

В районе польской железнодорожной станции Кельце, в окружении леса, на возвышенности, обосновалось небольшое поселение. С военной точки зрения было оно удобным местом для оказания нам серьезного сопротивления по взятию этой станции.

Наступившая тишина и безлюдие настораживали. Вот и решил я перед боем с группой своих бойцов провести более тщательную разведку. Мы обшарили практически все дома, даже на чердаки заглянули, но местных жителей и немцев не обнаружили. Это нас еще больше насторожило. Перед тем, как дать команду на отход, решил я еще раз через бинокль осмотреть окрестности. Мое внимание привлекли стоящие слева и справа недалеко от села две большие риги. Заинтересовали меня не сами риги, а их «подлатанные» свежей соломой крыши. И тут меня осенило: это же хитро продуманная засада. Отвел я своих солдат на исходную позицию, и дали мы хорошего огня по этим ригам. Предположение оказалось верным: за безобидными соломенными сооружениями скрывались вражеские танки и пехота. Бой был тяжелым, но с малыми потерями личного состава. Могло же быть совсем наоборот. Мне просто повезло с разведкой.

Второй раз мне повезло на Шпрее уже в Германии. Наш батальон пехоты и часть саперов были приданы дивизиону тяжелой артиллерии. В оперативную задачу входило: форсировать Шпрее, огнем «накрыть» сосредоточение фашистов на станции Котбус, давая возможность продвинуть основные силы на Берлин. К реке подошли без особых сложностей и серьезных боевых действий. Начали настраивать имеющиеся плавсредства и готовиться к форсированию. Подходит ко мне командир

и говорит: «Слушай, лейтенант, не нравится мне эта тишина на той стороне. Возьми двух солдатиков и проверь мины, что-то на душе беспокойно». Переправился я на лодке на ту сторону, придирчиво осмотрел берег и направился к виднеющейся насыпи железной дороги. Рельсов не было, но сама насыпь была хорошо утрамбована и могла нам служить прекрасной дорогой для продвижения. По этой насыпи прошел с километр, вернулся назад, периодически спускаясь к реке с проверкой, и вновь возвращался на насыпь. Так я это проделал раз десять. Мин нет. Доложил командиру о чистом проходе, и началось форсирование. Первой к берегу причалила на плотях пехота и начала занимать фланговые позиции. Следом причаливала артиллерия. Взрывы в стороне пехоты начались неожиданно. Рвались мины. Нас начала обстреливать артиллерия врага и прямым попаданием разбила наш плот, утопив пушку и командира. Меня спасло то, что я за две-три минуты до артобстрела прыгнул в воду и заспешил к своей пехоте. А берег к насыпи железной дороги действительно был заминирован. Вот и выходит, что я почти полтора часа ходил в обнимку со смертью. Не погибни тогда командир — меня бы расстреляли.

На войне всякое бывает.

Вспоминается мне один случай с моим старшиной. В Польше, во время боя за удобный плацдарм для наступления, продвигались мы мимо небольшого хуторка. Хутор горел. Наступление было настолько стремительным, что я на какое-то время потерял из виду старшину. Километрах в пяти за хутором заняли мы новые позиции и начали считать потери. Старшина появился где-то часа через два, молча присел на дно окопа, отбросил в сторону разбитый автомат, сделал два глотка из фляги и закурил.

— Понимаешь, лейтенант, заскочил я в этот горящий хуторок и слышу вопли о помощи из горящего дощатого сарая. Эти изверги загнали туда людей, закрыли и подожгли. Ударил я по замку прикладом, автомат и рассыпался. А рядом нет ничего

тяжелого. Смотрю, лежит железнодорожный рельс, поднял я его и ударил. Людей спас, а у самого ноги подкосились. Отлежался с часок и вот я здесь.

Помолчал и, резко поднявшись, дал команду: «Пятеро за мной!» Повернувшись ко мне, сказал: «Пойдем, лейтенант, а то ведь все равно не поверишь». На месте пожарища все оказалось так, как рассказал старшина. Только вот рельс этот мы с трудом подняли в четырнадцать мужских рук.

Где у человека расположен множитель сил? Я не знаю. Но он есть!

Домой вернулся только в сорок седьмом. Нас долго держали в Германии.

На войне для всех, в том числе и для меня, был ад. Мирное же время началось для меня с мучений. И от чего вы думаете? От женщин. Знакомился со многими, но через месяц-два расставались.

Трижды женился, и каждый раз хватало меня не больше, чем на два года. Я не виню этих женщин. Просто я в них ни разу не увидел Наташу и Оксану. А они мне снятся до сих пор. То Наташа из горящего вагона зовет меня на помощь, то Оксана протягивает мне мертвого ребенка.

На этом Николай Илларионович замолкает, глаза покрываются влагой, а губы кривятся в горестной улыбке.



## Статуя

*Мнение о человеке, как и почти о каждом существе, зависит от того, с какого расстояния на него смотреть.*

*Б. Джонсон*

Высоко поставленный Чин давно уже с уровня своего величия созерцал все и всех. Был он крепок, ладно сработан, и не могли его пошатнуть ни бури, ни грозы. Сильные ветры, дожди и морозы отшлифовали его лицо, и оно теперь светилося при первых лучах солнца, заставляя прохожих останавливаться.

Соратники, знавшие искусство его восхождения, давно уже вымерли. Многих он и сам проводил в последний путь. А те, которые остались, отворачивались от него и проходили мимо.

За ним ухаживали: мыли, чистили, красили. Его охраняли и оберегали. Чиновники бывшего его ведомства даже составили Правила посещения. Бронзовый лик его было решено покрыть золотом. На этой большой городской площади был он единственной Величиной.

Он был нужен Власти и ее Народу.

Приходили к нему школьники, выстраивались в шеренгу, и каждому повязывали красный галстук. И звучала на всю площадь Клятва: «Я, Гражданин... перед лицом своих товарищей... и если я нарушу... то пусть меня...» Прекрасное это было время.

Приходили старушки, крестились и кланялись. Много раз приходили к нему солдаты, позвякивая наградами и вытирая слезы. Поят молча, окинут его взглядом и так же молча уйдут.

Иногда прибежали к нему молодожены: радостные, счастливые, спешно целовались и убегали создавать свою жизнь.

Строем проходили мимо него перед отправкой в Казахстан комсомольцы-целинники.

Под музыку оркестра парадным шагом проходили воины, приветствуя его.

Так продолжалось долго, очень долго.

Но однажды что-то резко изменилось, и остался он один: без цветов, без поклонов, без клятв. Сумерки окружили его, и только крик ворон, да стаи голубей «отмечали» свое присутствие.

Эх! А бывало раньше — одним росчерком пера, одним взглядом мог решить судьбу человека. Да что человека! Он не один раз решал судьбы других государств. Его верные исполнители были повсюду. Его слово — Закон.

Долго стоял он забытый, грязный, неухоженный. Подошли как-то седовласые старики, погрозили кулаками и плюнули в него. А потом началось... Идут колонны за колоннами. Несут знамена разные: красные, зеленые, белые и желтые, с крестами и со звездами, сине-красные. Все кричат, машут плакатами. Ораторы через усилители то восхваляют его, то проклинают, а один даже назвал его «Вешателем». Долго бурлила площадь. Бурлила до тех пор, пока не прибыла милиция и не вытеснила всех отсюда.

Два месяца одна толпа меняла другую. Чередой проплывали разные флаги и лозунги, пока не начали хватать друг друга за грудки. Ох, и горяч наш народ: чуть что, сразу друг другу стараются дать по морде. И давали. Милиция пробовала унять, да куда там. Попало и милиции. А когда наступил беспредел, выскочили из укрытия омоновцы, и началась настоящая «рубка».

Били, топтали, крутили руки всем подряд, а наиболее рьяные крикуны остались лежать на мостовой. Долго гнали с площади смутьянов.

Помнил он, что вот так же было и в пору его молодости. Так же митинговали. Размахивали красными флагами, несли плакаты с призывами свержения царя и правительства. Прибегали городовые, полицейские утихомиривать их. Да куда там! Разогнали полицию! Не успели почувствовать радость победителей, как налетели со всех сторон казачки с саблями наголо и мигом навели порядок. Самые геройские остались лежать на тротуарах, обнимая знамена.

Но он не только помнил все это, он еще и знал, что будет дальше. И не ошибся. Вот уже и баррикады начали строить, используя ограды, тумбы и скамейки. Разобрали бульжную мостовую — основное оружие пролетариата. Только вот самого пролетариата не видно было. А может где-то и был. Всю ночь горели костры и играла музыка, демонстрируя перед напуганными обывателями свое участие в общенародном деле.

Рвали коммунисты свои партийные билеты и бросали в огонь, жгли архивы и офисную мебель. Люди разогревались. Но Чины свыше отдавать свою власть не собирались, и начался самый настоящий бой. Стреляли со всех сторон. Уже и убитые были, но стрельба не прекращалась. Две пули рикошетом даже ударили его по низу шинели. А если бы выше? Не выдержал такого неуважения Чин, крикнул и задрожал. Разумеется не сам, а от грохота танков, прибывших на усмирение бунтарей. Наиболее ретивые повстанцы бросались грудью на эти железные машины и погибали. Многие остались лежать на мостовой города.

— Где же авангард рабочего класса — коммунисты? — мог бы спросить он. Но ответа все равно не дождался бы. Народно избранный Президент «изолированно отдыхал» в это время на курорте, а говорунов-парламентариев запросто загнали в их апартаменты. Теперь они с оружием в руках защищали не права Народа, а свою Жизнь.



Другой же партийный функционер, окрепший в сибирских условиях, вел таких же озлобленных партийных «перевертышей» к новой, свободной, демократической жизни. Вел упорно, зачастую обманывая, но все время вперед и вперед. За ним шли, ему верили, его защищала митинговая рать.

Чин не мог не знать, что в скором времени столкнутся две силы и победит та, которая напористей и более массовая. И это произошло, подло, по-варварски. Окружили танками Государственный парламент, да и ударили по этажам боевыми снарядами. Враз народные избранники выкинули белые флаги.

А народ ликовал, выбирая себе нового Вождя.

И как ни величественен был облик Чина, оказать влияние на бывших сподвижников он уже не мог. Да и сподвижников он после себя не оставил: кто-то умер в лагерях, кто-то просто расстрелян. А те, кто остался, оказались хлюпиками.

А когда в одночасье местные «царьки» разобрали большую Страну по национальным гнездышкам, понял Он — это его конец. Конец Его величию, Его эпохе.

Ошибки не было.

Подогнали ночью большой автокран. Накинули на шею петлю, как, бывало, он повелевал набрасывать на других, и рванули. Первый раз устоял, как устоял в двадцатые годы при партийных разборках. Рванули второй раз. Заскрипел, закачался, наклонился, отрывая сапоги, и пал. Пал, как всякий Чин, поднятый в угоду кому-то на недостижимую высоту.

Рушилось Государство — валились Чины!